

ИЕГУДА ШТЕЙНБЕРГ

БЫЛЫЕ ВРЕМЕНА

Перевод с иврита: Дан Берг

Слово переводчика

Повесть “Былые времена” Иегуды Штейнберга (1863 – 1908) посвящена жизни кантонистов – еврейских детей, насильно взятых у родителей для подготовки к службе в армии императора Николая I.

О трагической судьбе малолетних рекрутов (двенадцати и менее лет) писали многие русские и еврейские литераторы: Н. Лесков, А. Герцен, А. Солженицын, В. Никитин, И. Гордон, Г. Богров и другие. Обыкновенно честные страницы сострадали беззаступным жертвам и обличали их мучителей.

Герои повести Штейнберга – это не обреченные на заклание овцы, но мужаяющие в борьбе с враждебной средой мальчики, подростки, юноши. Те из них, кто выживал после физических и моральных пыток благонамеренных царских инквизиторов, становились образцовыми воинами.

Рассказ ведется от лица бывшего солдата. Характер его не прост, противоречив, пожалуй. Крайним напряжением духа сберегший в сердце своем веру отцов, он в старости тепло вспоминает горькое прошлое.

Написанная на иврите повесть Иегуды Штейнберга впервые была опубликована в 1906 году. Издавалась в Польше, Германии, США (на английском). Настоящий перевод на русский язык – первый.

Дан Берг

Глава 1

Подошла очередь синагогального служки Шмуэля снаряжать сына в армию. Первым делом он отправился на рынок и, нимало надеясь на свою опытность, купил потребные новобранцу принадлежности. Не забыл отдать должное твердому обычаю, присовокупив к покупкам большую бутылку водки.

На торжественные проводы Шмуэль созвал соседей, и я был среди приглашенных. Взволнованный отец разлил водку каждому понемногу, и выпили за жизнь. Он снова наполнил рюмки и на сей раз не обошел Ривку, жену свою.

“Пей, жenuшка!”

“Часто ты видел, что я горькую пью?” – негодуя, возопила Ривка. У нее в запасе были и другие гневные речи, но проводы сына она сочла неподходящим часом для ссоры.

“Женщина! Пей! Тебе говорят!”

Ривка не боялась Шмуэля. Он незлой. Покричать, правда, любит, так это у него привычка армейская. Там он младших распекал, а с ним старшие не церемонились. Уважение за чин. Привык помыкать и помыкаемым быть.

Ривка не стала пить водку, не уступила. Шмуэль смягчился.

“Не хочешь – не пей! Отчего ты такая бледная? Небось, сына-то не в чужую веру обращают!” – как умел успокаивал жену строгий муж.

Услыхав про чужую веру, Ривка пустила слезу – не любила она этот разговор, и так в городе сплетничают, якобы ее семья с изъязном.

“Рёва и дура! Волос длинный, а ум короткий! – заключил Шмуэль, обращаясь к гостям, - видали ее? Пять раз устраивала переполох со своими родами, а толку – ничуть: одни девчонки! Только с шестого раза образумилась и стала рожать мне на старости лет, как положено – пацанов. Вырастили солдата, а она за жизнь выпить не хочет! Сын наш в армию идет. Сам. Не то, что я – меня мальцом силой утащили!”

С ретивой помощью гостей Шмуэль покончил с бутылкой. Они с сыном взобрались в ожидавшую их повозку, которая доставит их в губернский город к месту сбора новобранцев. Я тоже направлялся в центр и ехал вместе с ними. Мне повезло. Шмуэль был словоохотлив и в пути поведал мне историю своей жизни.

Дожди не щадили ни людей, ни лошадей, ни дорогу. Грязь то густая, то жидкая. Запасенное дома тепло вышло из нас, сырость пробиралась под одежду. Кучер то и дело останавливал повозку, просил пассажиров согреться пешим ходом и облегчить участь животных.

Шмуэль грустил, сидел сгорбившись, хмуро молчал. Домашняя удаля покинула старика. Он с жалостью глядел на сына. Видно, нелегко отцу думать о завтрашнем расставании. Я бросил короткий взгляд в лицо бывшего солдата. Похоже, тысячи мыслей вдруг разбередили память старика. Что было под спудом – рвалось наружу.

Мне захотелось разговаривать с Шмуэлем. Подталкивая его к откровенности, я бросил как-бы невзначай – должно быть, хорошо он помнит молодость свою. Шмуэль обрадовался моим словам. Его тянуло рассказать о былых днях. Сына в армию везет – волнительное время жалости, тревоги, воспоминаний. Он достал из кармана свою короткую трубку – вещь ценная

в его глазах, офицерский подарок как-никак – набил туго, зажег табак спичкой, выпустил облако дыма.

Глава 2

- Вот вы говорите, мол, помню я молодость свою, - начал Шмуэль, обращаясь ко мне сквозь облако дыма, - да, я ясно вижу все, словно это день вчерашний. Никто не знает, как уходит молодость, но что она прошла – чувствует всякий.

- Росли мы четверо сыновей у отца с матерью. Старший – Симха – городской резник, женатый. За ним следовал Шломо, ему в тот год, о котором рассказ, минуло тринадцать, бар-мицва. Годом моложе его Давидл, а я – самый младший, мне было одиннадцать лет. Нынче я один землю топчу, остальные братья на небесах, мир их праху.

- Беспокойство царило в городе. Говорили, что вот-вот свалится на наши головы хатфан, похищающий мальчиков для царской армии. Неимущие семьи больше тревожились, потому как богачи откупались, и бедняки, как заведено, платят вдвойне.

- Какой из себя хатфан – никто из нас, мальцов, не знал. В хедере, где мы учились, одни болтали, что это дьявол в человеческом облике, другие называли его язычником, третьи – вероотступником, а кое-кто утверждал даже, будто он гнусный еврей, который молитвами оборонился от проклятий праведников. Взрослые остерегали нас от незнакомцев на улице – хатфан угощает детей конфетами и орехами, а потом хитростью умыкает.

- Мой старший брат Давидл умер двенадцати лет. Мать любила его больше всех сыновей, и плакала нескончаемо. Где женщины – там и слезы, так уж Бог решил. Симха, резник, неплохо освоил Писание, но Шломо знал глубже. Превосходил всех Давидл. Ему предрекали будущее мудреца, да не судьба. Ангел смерти выбирает лучшего... А я был худшим – не тянулся к маленьким буквам. Другими словами, не любил учение. Пустоцвет, как говорится!

- Закон в те времена требовал от всякой еврейской общины ежегодно поставлять солдат на государеву службу. Уводили мальчиков с малолетства, чтобы к совершеннолетию успеть перевоспитать, выбить из головы еврейскую веру. Обычно брали из семей, где сыновей четверо и больше, но случались и исключения.

- Конец субботы пришелся на последний тридцатый день траура по нашему Давидлу. Отец после всех положенных молитв сказал матери, что, дескать, человек глуп и не научился до сих пор благословлять горести свои. Она не поняла, к чему он клонит, и взглянула на него недоуменно.

“Хатфан прибыл в город!” – сообщил отец.

“Боже мой...” – содрогнулась мать.

“Да ведь берут только у “четверных”, “пятерных” и дальше! А мы теперь “тройные” – пояснил отец, - трое сыновей у нас! Теперь, надеюсь, ты усмотришь милость Господа в горестях, которыми Он достаивает народ свой?”

- Отцовское умствование не успокоило мать. Симхе, как мы ошибочно думали, по положению его призыв не грозил. А на меня и на Шломо мать смотрела с жалостью и страхом, словно мы последние тлеющие угольки после пожарища. Мы чувствовали, что Давидл был святым –

умерев, он избавил нас от руки хатфана. Мне казалось, что душа его витает в комнате, видит нашу радость, и я стыдился.

- Назавтра я пришел в хедер с чувством превосходства – теперь я из тройных! А где превосходство – там и зависть. Четверные мне завидовали, а на них досадовали пятерные. И все вместе косились на двойных и одинарных. Детьми еще были, понимали мало, но жизнь уже надоумила нас, что родные братья могут стать злом друг для друга.

- Хатфан явился к нам из Польши, из того самого города, откуда родом Авремл Горовиц, зять богача реб Иосифа, мир праху его. Авремл слыл многообещающим знатоком Писания. Чтобы облагородить богатую свою семью почетом учености, реб Иосиф отдал огромные деньги, дабы заманить в мужья для дочери просвещенного зятя. Авремл сидел целыми днями в синагоге над книгами, а руками ничего не делал. Одним словом, чистый алмаз, без изъяна.

- На Авремла и нацелился хатфан, видно, царю непременно требовался солдат из рода Горовцев. Люди были потрясены – неужели лишат город светлой головы? Сам раввин пригласил к себе хатфана и просил его найти замену Авремлу. Стали искать в семьях с фамилией Горовец, и добрались до моего отца. А я и не знал прежде, что у нашей семьи есть фамилия. Отец держал это в секрете. Но бесполезно таиться от матери, она почуяла неладное, и отправилась к раввину, взяв с собой меня.

“Так-то раби надо понимать правду? – воскликнула мать, - я рожала, растила и лелеяла сыновей, чтоб они стали выкупом за какого-то Авремла?”

“Наш Авремл – это не какой-то Авремл, - ответил раввин, - он знаток Торы и золотое сердце. Он драгоценность для еврейского народа. Разве справедливо пожертвовать им, если можно заменить его?”

“Откуда раби знает, что мои сыновья, когда вырастут, не станут драгоценностями для народа? Это справедливость?” – наступала мать.

“Он из праведной семьи!” – защищался, как мог, раввин.

“И моя семья праведная! Я не хуже матери Авремла зажигаю субботние свечи и все заповеди соблюдаю!” – сказала мать и заплакала.

- Раввин сник, не вынеся женских слез. А мать спрятала меня и брата Шломо на чердаке и не велела высовываться.

- Но я был озорником и ослушался материнского приказа, - продолжил старик со вздохом. Каждый из нас искупает вину молодости. В нашем переулке жил шинкарь по фамилии Бендет. Вино он наливал отличное, и потому не гнушались его кабаком важные особы и большие чины.

- Бог дал Бендету единственную дочь. Красотой слыла и образованностью. Говорили о ней и дурное, но шинкарь обожал ее, да и что удивительного, коли родитель любит кровное свое дитя. И вот стало известно, что красавица убежала из дому и вере нашей изменила, не про нас с вами будь сказано!

- Прошли годы, Бендет умер, и гнусная дочь его приехала за наследством. Люди стеклись со всего города поглазеть на авантюристку, отрекшуюся от веры, но не от денег. Случилось это в тот день, когда мы с Шломо прятались на чердаке. Приспичило мне выйти наружу, чтоб увидеть вероотступницу, бросить ей в лицо проклятие, плюнуть вслед.

- На улице смелости моей поубавилось – боялся хатфана. Думал, куда побегу в случае опасности? Обратился ко мне еврей с большой бородой и с вьющимися пейсами. Сразу видно – человек благородный, такому можно доверять.

“Ты чем-то испуган, мальчик?”

“Я боюсь хатфана”, - сказал я, готовясь зареветь.

“Не плачь, пойдем, я тебя спрячу. В обиду не дам. Я ведь дядя твой. Или ты меня не знаешь?”

- Он держал меня за руку и вел за собой. Я заметил, что встречные женщины, взглянув на нас, всплескивали руками и принимались плакать.

“Что это с ними?” – спросил я наивно. Человек нагнулся ко мне.

“Хочешь чего-нибудь вкусного? У твоего дяди много сладостей!”

- Только я услышал про сласти, сразу понял, что никакой это не дядя, а самый настоящий хатфан. Я поднял крик, пытался вырваться, но человек крепко держал меня. Вокруг собрались соседи, вопили, грозили. Наконец я услышал свою мать и подумал, что спасен. Ведь материнский голос исцеляет ребенка, и надежда оживает, и дух крепнет.

- Мать прорвалась сквозь толпу, набросилась на хатфана, как дикий зверь. Била, щипала, царапала, вцепилась в бороду, но не могла освободить меня – он крепко держал свою добычу. Другие соседки присоединились к ней. Втроем пытались вырвать меня из сильных рук. Но что могут поделать три женщины против здорового мужчины? Трижды ничего!

- Тут одна из соседок, которая с матерью вечно ссорилась, кое-что придумала. Наверное, от того, что не любила мою мать, она сохраняла спокойствие в этот час, и потому голова ее работала лучше, чем у других. Она сбегала домой и вынула из печи два горшка – в одном прокаливалась крупа, а в другом был кипяток. Она подкралась к хатфану сзади и высыпала ему на руку раскаленную крупу и для верности плеснула кипятком. Хатфан завопил во всю мочь, невольно разжал руку и отпустил меня – и вот я свободен!

Погасла трубка, и Шмуэль замолчал. Ему легче рассказывать, когда дым закрывает от него лицо слушателя: должно быть, так виднее ему былые времена, и ярче воспоминания о них. Тем временем начался затяжной подъем, и лошади встали. Кучер напомнил нам, что пора пройти пешком по грязи.

Глава 3

Мы пошли вслед за повозкой. Старик снова набил табаком трубку, закурил. Дым окутал его, и он продолжил рассказ.

- Почувствовав свободу, я перестал соображать от счастья, словно в забытьи впал. Когда очнулся, то увидел, что нахожусь на опушке леса, а вокруг меня пасутся овцы. Рядом брат Шломо. С трудом узнал его: одет, как русский мальчик: рубаха белая поверх брюк, подпоясан красным кушаком. Я смотрел на брата, а он смотрел на меня и на мою одежду, такую же, как у него. Я подумал, что нарядили нас в запрещенный еврею шаатнез – смесь шерстяного с льняным.

- Нам обоим приветливо улыбался знакомый русский парень, пастух. Он жил неподалеку от нас. Зимой по субботам он зажигал свечи в еврейских домах – шабес-гой. Поэтому он научился немного говорить и понимать по-еврейски. А летом он пас овец.

- Рядом со мной и Шломо стояла мать. Она плакала и целовала нас. Уходя, она оставила нам хлеб, соль, другую провизию. Не велела нам говорить по-еврейски при людях, чтобы не узнали, кто мы. Ей легко сказать, не говорить по-еврейски, а мы другого-то языка не знали! Она сказала, что нам придется тут скрываться, пока хатфан не уйдет из города.

- Это место стало нашим новым убежищем. Теперь будем прятаться не на чердаке, не в темноте и в духоте – а на вольном воздухе между небом и землей! Чего нам здесь бояться? Солнца? Света? Луны? Или овец в стаде? Мы от людей таимся!

- Мать оставила нас на попечение пастуха. Он хороший хлопец, с ним надежно. Раз подошел к стаду незнакомый человек, а пастух как закричит: “Эти мальчики не евреи! Честное слово, совсем-совсем не евреи!” К счастью, то был не хатфан, а мясник – пришел покупать овец.

- Нам со Шломо нелегко было первый раз в жизни засыпать под открытым небом: шорохи, таинственные звуки, звезды отражаются в реке. Я смотрел на стадо. Не разобрать в темноте каждую овцу в отдельности. Мне казалось, будто огромные существа лежат в траве. С восходом солнца они превращаются в смирных овец, а по ночам, под действием колдовства, становятся грозными великанами. За нами чернел лес, а какие только ужасы ни случаются в чаще, да еще и ночью!

“Почему ты не спишь?” – спросил меня пастух.

“Я боюсь...”

“Чего ты боишься?”

“Лес страшный...”

“Можешь больше не бояться, вот тебе охрана!” – крикнул пастух, засвистал громко-громко, и сбежалась армия собак.

- Оглушительный лай разогнал ночную тишину. Что до меня – я собак любил. В тайне от родителей вырастил одного щенка. Но какво бедному Шломо! Еврейский мальчик, он всегда пугался собак, а теперь он под охраной этих страшилищ!

- Так вот и жили мы в нашей привольной тюрьме под открытым небом, одетые в шаатнез. Наконец мать поняла то, что раввин уже знал давно, еще когда она приходила к нему вместе со мной. Нас со Шломо найти не могли, а государевой армии требовался еврей непременно из рода Горовцев. Вот и схватили старшего брата Симху, городского резника. Родители подумали, что несправедливо будет отдать семейного сына в армию, а я, сорванец и невежда, собак гоняющий, останусь дома.

- Пришла мать и забрала нас. Остальное сделали другие.

Старик прервал рассказ. Он устал подниматься пешком, дышал тяжело. Повернулся, взглянул на пройденный путь.

“Проверенное средство, - дал мне Шмуэль хороший совет, - если тяжело идти в гору – оглянись, посмотри вниз, и силы вернутся.”

Глава 4

Люди проворнее лошадей поднимаются в гору по грязи. Мы стояли наверху и поджидали нашу повозку. Я смотрел на раскинувшуюся внизу долину. Казалось, тянувшиеся за нами телеги и экипажи не двигались, застыли не месте, утопая в глинистой жиже. Водная рябь на горемычной

раскисшей дороге блестела под солнечными лучами, прорвавшимися сквозь разрывы в громадах туч.

Старик продолжил рассказ.

- Доставили меня в тюрьму, как беглеца. На лавках и на полу сидели мальчики моего возраста. Некоторые плакали. Нам объявили, что завтра нас повезут к месту назначения. Сказали, что раввин хотел с нами проститься, но ему не позволили.

- Честностью славился наш раввин, мир праху его. А когда прямому человеку позарез нужно обмануть, он любого вралю превзойдет. Ничего не поделаешь – кто ни с кем не лукавит, того все дурачат. Чтобы с нами напоследок повидаться, раби придумал ловкую штуку. Одеся, как гой, дождался темноты, вышел на улицу и, прикинувшись пьяным, давай горланить на всю округу. Ночные жандармы схватили нарушителя спокойствия и отвели в тюрьму.

- Всю ночь раввин говорил с нами. Он поведал нам, что сыновья Якова продали в рабство брата своего не по собственному желанию, а по воле небес, которым угодно было сделать праведного Иосифа великим в глазах египтян, дабы признали язычники избранность народа Израиля. Мы, малолетки, хоть и не успели мудрости набраться, а поняли: на нашу судьбу намекает наставник.

- Раввин повторил с нами молитву “Слушай, Израиль” – мы должны знать ее наизусть. А потом он сказал, что нас увезут далеко-далеко, и мы пробудем в том месте несколько лет, а потом станем солдатами. Он просил нас, елико возможно не есть некошерной пищи и соблюдать субботу, и, самое главное, никогда не изменять вере отцов, даже под пытками.

- Раби рассказывал нам всевозможные истории. О десяти убиенных, отдавших жизнь, чтобы не предавать свою веру. О женщине и семи ее сыновьях, которые предпочли гибель поклонению чужим богам. Все эти герои теперь пребывают в раю вместе с Богом, и над головами их сияет ореол святости. Я завидовал мужественным праведникам и думал: “Хорошо бы и меня испытали, я бы непременно всё выдержал и после смерти попал бы в рай!” Не знал тогда, как препоны умеряют хотение.

- С рассветом вошел охранник. Раввин стал прощаться с нами: “Агнцы святые! Сейчас мы расстаемся. Меня накажут плетью за обман, а вы отправитесь в изгнание. Не знаю, продлится ли мое пребывание на земле до вашего возвращения, но в лучшем мире, надеюсь, мы свидимся. Дай Бог, что бы мне не стыдно было за вас перед Высшим судом!” Слова раввина запали мне в душу.

- Мальчиков стали сажать в телеги. Непокорные пытались бежать. Их ловили и связывали. За нами шли отцы и матери. И мы и они плакали. Город, поле, земля, небо – весь мир плакал вместе с нами.

- Я увидел своих родителей. Мной пожертвовали, отдали на замену. Злое чувство копошилось в сердце. Должно быть, взгляд выдал меня. Мать, посмотрев мне в глаза, побледнела, ноги ее подкосились, она упала на землю без чувств. Ее подняли, вернули в сознание. С жалостью, гневом и страхом я расстался с родителями. Злоба в душе – как уголек тлеющий: и жжет и чернит.

- Мы устали голосить и постепенно смолкли. Вдруг вдаль послышался вой, похожий на наш плач. Я подумал, что это из другого города везут таких же, как мы, несчастных детей. Я ошибся.

Из-за деревьев показалась телега, а в ней тесно лежали, прижавшись друг к другу, ягнята, которых купили на убой.

- К вечеру телеги остановились. Связанных освободили от пут. Мы не ели весь день, хоть матери и снабдили нас провизией. Кусок не лез в горло. Наступила ночь, вновь поднялся рев. Как в Писании сказано: “Плачет, плачет она по ночам, и слезы ее на щеках у нее...” Охранник не захотел слушать наши вопли, пригрозил кнутом.

- Утром почувствовали голод. Стражник допустил нас до еды, и мы насытились. В этот горестный день мелькнула минута радости. Я увидел свою собаку, которую вырастил со щенка. Она увязалась за мной, верная животина. “Глупая, нас не ждет добро. В ссылку меня везут. Надеждой будем жить, как все изгнанники!” – сказал я ей.

Шмуэль рассмеялся, вспомнив этот курьез. Тем временем повозка догнала нас. Мы вернулись на свои места. Старик жалостливо посмотрел на сына. Добрый материнский взгляд строгими отцовскими глазами. Глубоко вздохнул, молча уставился вдаль.

Глава 5

- Впереди нас ждали мытарства долгого пути, - продолжал рассказывать Шмуэль, - переходы, привалы, изодранные до крови ноги. Охранник порой сердился на нас: “Жида проклятые! Чем обязан я вам? Мучаюсь с вами в дороге!” Кнут его настигал нас, и он успокаивался. А ведь правдой пахли его слова! Умри мы годом раньше, и не пришлось бы ему с нами томиться. Вы думаете, это шутка горькая? Нет. А, может, и да! Нет серьезности без шутейства. Я-то знаю армейскую службу – нелегко быть жестоким в глазах слабого. Повзрослев, понял бедствие того стражника...

- А все же признаю: ненавидел я инквизиторов наших. Хатуфим, как называли мы себя, больше всего страдали от кнута и розг. Не стал кланяться иконе? Молился или говорил по-еврейски? Отказался есть свинину? За все эти преступления получали мы жестокие побои. Двадцать, тридцать, а то и пятьдесят ударов причиталось нам.

- Из нас, еврейских детей, хатуфим то есть, составляли сотни, которыми предводили чиновники. Нелегко им было с нами. Мы ведь по-русски ни слова не знали. Командир скажет “Сиди смирно!” – а ты встаешь, скажет “Сними с меня сапоги!” – а ты ему кружку воды несешь! Как скотиной помыкали нами. Слова мы понимали только по движению глаз господина, а кнут всегда доходчив!

- Для многих хатуфим пыткой была баня – таким мы представляли себе ад. Раздевали нас догола. Силой запихивали на самый верх, где горячее всего. В котле вода кипит. Камни пышут жаром. Банщик то и дело черпает кувшином кипяток из котла и выплескивает воду на камни. Пару становится все больше. Он обжигает кожу, раздирает раны и царапины на наших всегда битых телах, палит глотку, не дает дышать. Хочешь сползти вниз? Кнутом встретят!

- Все это правда. Но разве из жестокости подвергали нас этому испытанию? Кого винить? Ведь мы были еврейскими детьми. Каждый канун субботы матери мыли нас, давали чистое белье, субботнюю одежду. Страдали и называли адом баню с непривычки! А другая правда та, что месяцы мы были в дороге, спали на земле, мерзли, болели, не мылись. Многие не дошли и умерли в пути.

- Определяли нас помощниками в крестьянские дома – чтобы отвыкали от еврейства, становились гоями и готовились к солдатчине. Меня отдали в семью Петра Семеновича Халапова и его жены Анны Петровны. Христианин Петр был не простым мужиком, а служил в местной тюрьме писарем. Должность эта считалась почетной, чистой и выгодной. Сыновьями Бог не наградил его, и радовала отца только единственная дочь Маруся, девочка лет тринадцати, веселая и красивая.

- Жившим в деревне хатуфим полагалось каждый день собираться перед домом командира сотни. С нами занимались, вдалбливая нам в головы начала армейской науки. По просьбе Халапова я был почти освобожден от этой повинности, и только раз в неделю являлся на военную учебу. Хозяин мой хотел, чтобы я помогал дома и в поле.

- Петр мало бывал с семьей. Большую часть времени проводил на работе в тюрьме. Частенько сиживал в кабаке у единственного в деревне еврея. Когда приходил домой навеселе, говорил со мной ласково, может, оттого что не имел своих сыновей. Расхваливал военную службу: “Вырастешь, произведут тебя в офицеры. Саблю наденешь. Солдаты будут перед тобой навтыжку стоять, честь отдавать. Совершишь подвиги, сам император примет тебя во дворце!”

- Халапов рассказывал мне сказки о войне. Говорил он, конечно, по-русски. То, что я мог постичь, казалось мне интересным, а остальное – и вовсе было прекрасным. Потому как непонятое я домысливал на свой вкус. Вот вам, молодым, совет старого дурака: “Не читайте сказки, где все ясно – они сон нагоняют!” Впрочем, это к делу не идет...

- Анна, жена Петра, приняла меня худо. Женщина молчаливая и злая. К соседкам не ходила в гости, и ее редко навещали. Называли ее гордячкой. Петр, когда трезв бывал, боялся жену. Необычная сила таилась в ее глазах. Адский огонь в них, взглянет – и страшно делается. Видали вы глаза моей Ривки? То-то же!

- Так вот, невзлюбила меня Анна. Никогда не называла по имени – только “жиденок” я слышал от нее. Казалось мне, что нравилось ей проносить это слово, выговаривала его с открытой насмешкой и скрытой ненавистью. Строга была со мной, и поблажек не давала. Требовала, чтобы я ел не дома, а во дворе. То ли брезговала смотреть, как я ем, то ли не нравилось ей, что не голодаю. Однажды велела мне есть свинину, а я не стал. Она собралась пожаловаться на меня командиру сотни. Петр вступился, не позволил ей, сказал: “Вырастет – поумнеет”.

- В другой деревне хозяин уличил своего мальчика-хатуфа в отказе есть свиное мясо и в произнесении еврейских молитв. Пожаловался чиновнику. Преступника звали Яков. Я не знал его прежде. Ему определили наказание – двадцать ударов розгами. Все хатуфим, и я тоже, должны были явиться к дому командира сотни, чтобы смотреть, как секут Якова.

- Со временем мы привыкли к таким зрелищам, но первый раз было невероятно страшно. Представьте себе: с мальчика снимают одежду, кладут лицом вниз, двое усаживаются на него – один на ноги, другой на затылок, а два палача стоят друг против друга с пучками розг, и каждый должен ударить десять раз.

- Я взглянул в лицо несчастного – бело, как мел. Губы шептали псалом. Поднялись вверх розги. Страшный крик. Кровь. Кожа лоскутьями. Счет: один, два, три... Крик. Молчание. Снова крик... Восемь, девять, десять... Стоп! Командир сотни по доброте сердца остановил экзекуцию: мальчик потерял сознание и не мог чувствовать воспитательного действия розг. Якова увезли в лазарет. Милосердный чиновник поделил наказание на два, записав за Яковым, что ему причитается еще десять ударов, когда поправится.

- Я вернулся домой. Если бы в этот вечер Анна дала мне свинину, не знаю, что бы я сделал. Ночью мне приснился наш раввин. Он стоял передо мной, понутив голову. Слезы капали на лапсердак. Потом он поднял на меня глаза, в них были строгость и жалость.

- Маруся с самого начала отнеслась ко мне хорошо, я бы сказал, сердечно и с интересом. Глаза ее излучали то веселье, то грусть. Они словно говорили: “Добро пожаловать. Хорошо, что пришел к нам. Мне нужен друг!” Она мало зналась с другими девочками в деревне, потому и радовалась моему появлению. Обычно веселая, иногда она погружалась в печальные думы. Мне казалось, что тогда она становилась похожей на свою мать. Мы подружились, вели долгие детские разговоры, и они скрашивали мне часы тоски и одиночества.

- На следующий день после истязания Якова я места себе найти не мог. Сердце разрывалось. Я спрашивал себя: “Кто эти люди вокруг? Зачем я здесь? Что дальше будет?” Маруся посмотрела на меня, поняла мое настроение. Я вышел из дома в сад. Она последовала за мной. Я рассказал ей о вчерашнем ужасе, она содрогнулась.

“Почему его били?” – спросила Маруся.

“Он не хотел есть свинину и молился по-еврейски”, - ответил я.

“А почему он не хотел есть свинину?”

“Нельзя нам!”

“Нельзя? Почему?”

Я ничего не сказал. Она грустно молчала, потом повеселела.

“Тебя не будут бить!”

“Откуда ты знаешь?”

“Командир сотни – знакомый отца.”

“А если твоя мать нажалуется на меня?”

“Я вместо тебя пойду получать розги!”

Она улыбнулась, и я вслед за ней. Мы оба стали смеяться, сами не зная чему. Я вернулся в дом.

“Она не такая, как все!” – решил я. С того дня я почувствовал, что некая сила сближает нас.

- Шло время. Я немного научился понимать и говорить по-русски. Мне удавалось хорошо выполнять работу в поле и дома. Иной раз хотелось угодить Анне, хоть и не дожидаться от нее похвалы. Я скучал по одобрительным словам матери.

- Как-то сидел я на завалинке, а рядом лежала моя собака, смотрела преданно мне в глаза. Расскажу вам, кстати, ее историю. Первый раз, как появилась она во владениях Петра, дворовые псы набросились на нее с яростью. Она приняла бой, понадеявшись на крепкие зубы. Дрались до крови. Хозяева оценили ее силу, оставили у себя и стали кормить. Так вот и отвоевала она место под солнцем, прижилась. Когда я грустил в одиночестве, собака вытягивалась передо мной, и в ее глазах я читал немой вопрос: “Почему ты не постоишь за себя, как я это сделала?” Тут подошла Анна, хлестнула меня злым взглядом: “Жиденок ленивый! Сидит без дела, а я еду ему готовь да подавай!” Я встал с завалинки, начал озираться, ища себе занятие. “А ну, жиденок, поймай-ка поросенка и принеси мне!” – приказала Анна.

- Не по нраву пришлось мне такое поручение. Еще вчера я слышал, как Анна собирался забить поросенка. Животное, конечно, некошерное, но все равно жалко – он здесь рос, да и маленький совсем! Но с Анной не поспоришь. Это не трусость – подчиняться превосходящей силе. Она велела взять веревку и связать его. В тонком визге обреченного я слышал: “Жиденок, я ведь верил тебе, неужели ты убьешь меня?” Анна дала мне нож, ткнула пальцем где резать. Поросенок истекал кровью, стонал. Потом хозяйка приказала собрать хворост, развести огонь,

положить на него умирающую бессловесную тварь. Я все выполнил. Собака смотрела на меня изумленно, осуждала, потом залаяла.

- Ночью я видел сон, будто мы с братом Симхой, резником, стоим перед небесным судом. Животные судят нас. К Симхе обращаются гуси, куры, другие чистые птицы. Говорят они на святом языке: “Много ли было тебе радости резать нас?” А мне поросенок кричит что-то непонятное, и визжит, и жалобно стонет.

- На другой день Анна привела меня к иконе и заставила читать христианскую молитву. Когда вернулся домой Халапов, она накрыла на стол, усадила меня рядом с Петром и положила мне в тарелку свиное мясо. Переводила взгляд с меня на мужа и обратно. Видно, заранее задумала восстановить Петра против меня. Все жевали, а я не мог. В ушах звенел визг казненного мною поросенка. Предательская тошнота подступила к горлу. Я не совладал с собой – осквернил стол... Я стыдился поднять глаза на Марусю. В гневе и торжествуя вкочила из-за стола Анна, схватила меня за ухо и выволокла на улицу. “Убирайся, грязный жиденок! Не появляйся больше в моем доме!” – прокричала она. Петр и Маруся молчали.

- Несчастный, я сидел на завалинке. Моя собака лежала рядом, уставившись на меня. “Мы здесь не по доброй воле, - обратился я к ней, - в ссылке мы. А теперь нас и отсюда гонят. Что это? Изгнание из изгнания?” Собака ничего не пролаяла в ответ, только смотрела сочувственно.

- “Не пришло ли время сбежать? – зародилась мысль в голове моей, - поймают – скажу, выгнали меня, значит, свободен!” Домой хотелось к отцу с матерью. Стирается злое чувство из памяти. Леса я больше не боялся – ни чертей, ни ведьм. Да разве какое чудовище причинит человеку больше зла, чем сам человек? Однако, велик страх перед розгами. Отрядят погоню. Поймают. Станут хлестать по голому телу. Кровь, крики бесполезные! Жутко!

Старый солдат поглядел на меня, махнул безнадежно рукой. “Вы, молодые, вы люди нового времени, не понять вам этого ужаса...” – сказал Шмуэль. Помолчав, продолжил рассказ.

- Так мы и сидели с собакой, каждый печалился о своем. Стемнело, ни зги не видать. Вдруг я почувствовал прикосновение к волосам. Думал, паук или ночная бабочка. Захотел прогнать, но ощущение переместилось на затылок. Теплые пальцы Маруси дотронулись до меня. Она уселась рядом и сжала мою руку в своих ладонях.

“Почему ты тут сидишь?” – спросила Маруся.

“Так ведь твоя мать выгнала меня!” – ответил я.

“Пустяки! Характер у нее вспыльчивый, не знаешь разве?”

“Она всегда оскорбляет меня, называет жиденком.”

“Ну и что? Разве ты не еврей? Я бы не сердилась, если бы она называла меня христианкой!”

“Жид – это больно! Рана от обиды заживает дольше, чем от кнута.”

“Зато ее можно не замечать... Что собираешься делать?”

“Убегу!”

“Не сказав мне?”

Мои глаза понемногу привыкли к темноте. Я видел ее фигуру, движения. Различил добрую улыбку на лице. В этом доме у меня был друг. Вернее, подруга. Хорошая и красивая. Я почему-то расплакался. Маруся стала гладить меня по голове, по затылку, по лицу. Я плакал, а она не останавливала меня. Она правильно делала – мне полегчало на сердце. Я прижал ее руку к своей щеке – чтоб подольше чувствовать тепло.

“Так ты убежишь, не сказавши мне?”

“Скажу...”

“А если я назову тебя жиденком, обидишься на меня?”

“Не знаю... Нет, наверное...”

“А если дам тебе свиного мяса, рассердишься?”

“Так я и так уж осквернился!”

“Я ем свинину, выходит, я оскверненная?”

“Нет!” – горячо ответил я, чувствуя, что побежден.

“Ты хороший парень, нравишься мне!” – заключила Маруся.

И тут я почувствовал на щеке прикосновение ее горячих губ. Это был поцелуй. Я закрыл глаза – чтоб не видеть, как звезды смотрят и стыдят меня. А девочка убежала в дом.

- Я все сидел на завалинке. Вернулась Маруся, протянула мне заплечный мешок. “Здесь хлеб и мясо, - сказала она, - отец велел тебе идти в ночное с лошадьми.” Она тараторила как ни в чем не бывало, словно забыла о случившемся несколько минут назад.

Шмуэль значительно посмотрел мне в лицо. “Если вы не знаете, что это за штука такая – “ходить в ночное”, то позвольте объяснить вам!” – с важностью произнес синогальский служка и принялся просвещать меня.

- Ночное – это вещь особая! Лошадь работает весь день, и владелец заботится о ней. А ночью она отдыхает, и где ж ей кормиться? Поэтому хозяева отправляют хатуфим в ночное пасти скот, причем обязательно на чужом поле – у соседа. А у того тоже есть животное, и трава дожидается ее по ночам непременно на чужом лугу. Пасут лошадей украдкой в несвоих владениях. Так повелось, и все довольны. Схватят вора, то есть кого-то из хатуфим, и побьют. Но крестьяне наперед договариваются меж собой: ты поймаешь моего, поколотишь, а я к тебе за это не в претензии, а если я твоему всыплю, то и ты на меня не в обиде. Резона такого обыкновения я не постиг.

- Я любил ходить в ночное, не смотря на опасность заработать зуботычины да тумачи. Хороши тихие ночи в поле, когда луна льет на землю бледный свет, а звезды помогают ей. Можно забыть о жалком своем бытии. Кажется, не на век изгнан я, и вернусь еще в родной дом. Отец в эту пору произносит благословение луны. А мы с матерью смотрим на одну и ту же звезду. И светило соединяет наши взгляды, и мы словно видим друг друга. И я плачу долго-долго, пока не засну и не увижу сладкие сны.

- Раз я отправился в ночное с лошадьми Петра на его собственный луг, а не на соседский. Не помню, зачем нарушил укоренившийся обычай воровства. Наверное, надеялся честным поведением вызвать в воображении родной дом и родителей. Однако, привиделся мне раввин. Он смотрел на меня строго и все рассказывал, как Иосиф жил у Потифара, и помянул случай с женой царедворца. Я, конечно, понял намек. Сразу вспомнил стыдные вещи, что со мной приключились. Девочка поцеловала меня. И вдобавок она голая. Мало того, она пришлась мне по сердцу. И я думал о ее красоте. И я обещал ей есть трэфное мясо. Я был бесконечно грешен в собственных глазах.

- Меня разбудил незнакомый голос. Мягкий такой, брал за душу, словно обращался ко мне. Я пошел навстречу почти забытым звукам. Луна спряталась за облаком, в темноте даже лошадь трудно было разглядеть. Я наострил уши и услышал псалом: “Ибо знает Господь путь праведников, а путь нечестивых сгинет...” Откуда здесь, в изгнании, такие слова? Может, я все еще сплю? Но вот снова: “Почему волнуются народы, и племена замышляют тщетное?...” Тут не выдержал я и громко продолжил: “Встают цари земли...” Чужой напев замер, и я услышал приближающиеся шаги.

“Кто это?” – спросили по-еврейски.

“Я! А это кто?”

“Мы!” – прозвучал нестройный хор.

“Хатуфим?”

“Хатуф?”

- Мы встретились. Я и трое хатуфим из другой деревни. Их тоже отправили в ночное. Старшего звали Яков. Вы уже знаете его – тот самый, которого били розгами. Двое других – Шимон и Реувен. Они просили называть их домашними именами: Янкель, Шимеле и Рувик. Этот луг служил им постоянным местом встречи в ночном. Что-то вроде “синагоги раби Янкеля”.

- Янкелю было лет пятнадцать. Его взяли из дома, где высоко ставили учение Торы, и он, конечно, проникся стремлением к знаниям и к праведности. Янкель справедливо гордился перед всеми хатуфим, что единственный не потерял счет времени и знал субботы и праздники. Выходя в ночное, он по возможности собирал вокруг себя “прихожан синагоги раби Янкеля.” Он сообщил мне, какое важное событие сегодня – девятый день месяца Ав.

- Я спросил Янкеля, почему девятого Ава они поют псалмы, а не траурные песни? Он ответил мне: “Книг здесь нет, и произносим лишь в памяти сохранившееся. Покойный отец, мир праху его, учил меня, что главное не слова, а устремление сердца. Ведь на святом языке говорим!” Янкель превосходил нас всех своими познаниями. Я смотрел на него, как на раввина нашей маленькой общины.

- Как здорово, что мы встретились – евреи собрались вместе! Я слышал еврейскую речь, я говорил по-еврейски! Казалось, где-то рядом родной дом, отец и мать...

Старый солдат взглянул на меня взволнованно, словно требуя ответной радости. Я дружески улыбнулся, поддерживая его торжество. Удовлетворенный Шмуэль продолжал.

- Праздник сердца не был полным. Заноза греха колола душу – я ел свинину, и это не единственное преступление.

- Рувик и Шимеле бесцеремонно рылись в моем мешке. “Еда!” – с ликованием воскликнул один из них. При слове “еда” все оживились. Хатуфим не голодали, но хозяева кормили нас в самые неурочные часы – приходилось есть впрок. От стыда я закрыл лицо руками: сейчас найдут свинину! Я не стал дожидаться разоблачения, признался сам и заплакал. Янкель выслушал меня внимательно, а потом произнес речь.

- “Вот что я скажу тебе, Шмуэль, - начал Янкель, - не знаю, испытал ли ты все те муки ада, что достались нам. Болячки твои лечили мазью из дегтя с солью? Тебя, обмазанного этим средством, загоняли в баню на полук, где горячий пар жжет и душит? Били розгами за еврейскую молитву? Ставили коленями на острые камни, когда отказывался целовать крест? Сосчитай шрамы на телах наших! И все же мы каждый день тайно произносим еврейскую молитву! Розги только слабых подчиняют. Когда мы отказывались есть свиное мясо, нам перестали давать иную пищу – только свинину. Голодали. Шимеле пытался есть траву. Два дня и две ночи держали мы пост. На третью ночь мне приснился мой отец, мир праху его. Он произнес: “Не по своей воле ты ешь! Скажи твоим товарищам-хатуфим, что заслуги ваши весьма велики. Каждый стон ваш – молитва, всякая благая мысль – деяние. А заморите себя голодом – и уделом вашим станет ад!” Тут я проснулся. С тех пор мы едим некошерную пищу. Бог не зачтет нам это за грех. Главное – оставаться евреями, чтобы с поднятой головой вернуться домой!”

- Шимеле вытащил из мешка хлеб и кусок жареной свинины. “Обжора! – крикнул ему Янкель, - забыл, какой сегодня день? Девятое Ава!” Пристыженный Шимеле вернул еду в мешок.

- С души моей камень свалился. Значит, в нашем положении свинину есть можно! Я подумал, что Янкель отпустит мне грех с Марусей, и честно поведал ему эту историю. Я отрекомендовал ее с лучшей стороны, хвалил всячески.

“Она в самом деле поцеловала тебя?” – спросил Янкель, и другие мальчики испуганно повторили вопрос.

“Да”, - ответил я, понурившись.

“Она красивая?”

“Красивая...”

“Плохо, Шмуэль! – сказал Янкель и нахмурился, - не знаю, поймешь ли ты меня? Опасно в изгнании, среди врагов, искать тех, кто любит нас.”

“Почему?” – изумился я.

“Обиженными мы ушли и таковыми же должны вернуться. Обида и правота – достояние наше, и нельзя нам ни терять, ни разменивать его.”

“Почему? Объясни!”

“Так я чувствую... Я остерегаю тебя, Шмуэль. Похоть не боится стыда. Отдались от нее!” – изрек Янкель свой приговор.

- Слова эти запали мне в сердце. Я пребывал в их власти. Когда Янкель пристально смотрел – он порабощал, и не найти было возражений. Привычка есть такая – суд грамотного принимать на веру.

- В этот час я стал другим человеком. От двух грехов я очистился. Первый оказался простительным, а во втором я покаялся и решил, что сойду с кривого пути и встану на прямую дорогу. Я присоединился к общине, и мы, помятуя о торжественности дня, стали произносить первые строки псалмов – то, что успели дома запомнить наизусть.

- Мы, четверо еврейских мальчиков, примостились на лугу Петра Халапова и читали: “При берегах бавэльских – там сидели мы и плакали, когда вспоминали Цийон.” И мы не удерживали слез, говорили о том, где находимся, что утратили, как выстоять, и когда мукам конец.

Шмуэль изрядно разволновался от этих воспоминаний. Солнце зашло. Увлечшись рассказом, он забыл помолиться. Он велел остановить повозку. Старый солдат и новобранец спустились на землю и погрузились в вечернюю молитву.

Глава 6

Закончив молиться, солдаты – бывший и будущий – вернулись в повозку. Шмуэль добавил молитву “Нам надлежит восхвалять...” Слова улетели в сырой туман и растворились в темноте наступившего вечера. Он не ждал моей просьбы, а, как разумеющееся само собой, продолжил рассказ с того места, на котором остановился.

- Признание Янкелю явилось для меня началом новой жизни. А сам он казался мне теперь человеком значительным и образцовым. Речи его были тверды, а решения окончательны. Кто все время говорит один – тот неминуемо прав. Сомнения, если такие возникали, разрешал покойный его отец, который являлся ему в ночных видениях. Наша маленькая община жила по его словам и снам.

- Мы бестрепетно ели трэфную пищу, нарушали субботу, молились на иконы и совершали другие преступления против веры. Но в устремлениях сердец наших мы хранили преданность еврейству – как и требовал Янкель. Я стал представлять себе еврейство не как следование правилам, а как нечто высокое, чему я не находил объяснения, которое наш маленький раввин, конечно, знал.

- Наверное, была за Янкелем правота. Всевышний определил для нас, бедствующих хатуфим, особенный порядок дозволенного и запрещенного. Преступая обычаи, я чувствовал, что в душе остаюсь евреем. И Анна примечала это и потому по-прежнему называла меня жиденком и ненавидела, хоть я и нарушал наши законы.

- Я давал себе слово восстать против Маруси. Думал, подойдет она ко мне с добром – а я отважу ее, скажу, что я еврей, а она – гоя, и нет у нас общего пути. Но по задуманному не выходило. Взглянет она на меня озорными глазами – и я пьянею. Красивая и веселая девочка вовсе не казалась мне воплощением греха. Она пришивала мне пуговицы, ставила заплаты, приносила лакомства. Принимая все с благодарностью, я забывал наставления Янкеля. А когда встречался с ним, то внимал его поучениям: нельзя брать добро у гонителей наших. И каялся искренне, но увидев Марусю, вновь любовался ей. Я жил меж молотом и наковальней.

- Я продолжал видаться в ночном со своими товарищами. Как-то раз Янкель сказал, что пасти лошадей на чужих лугах – это нечестно. Воровство должно быть справедливым, и поэтому нельзя выпускать скотину только к Петру Халапову, а надо менять пастбища. Мы так и поступили, да еще и приняли во внимание сколько лошадей у хозяина – у кого больше, у того и пасли чаще.

- Как на беду, к нам присоединился русский парень Сергей – сын деревенского головы и муж сестры Петра Халапова. Он тоже иногда ходил в ночное. Мы рассказали ему о нашем нововведении, он удивился и доложил о нем в деревне. Хозяева сильно рассердились на нас за самоуправство. Янкель взял всю вину на себя и единственный был наказан. На этом закончила свое существование “синагога раби Янкеля” – нас перестали посылать в ночное.

- Крестьяне чувствовали себя обманутыми. Всегда довольны бывали своей хитростью, а тут оказалось, что лошади каждого щиплют траву за его же счет. Выходит, понесли ущерб по нашей вине. Сергей сказал мне: “Какое вам дело? Ваше что ли воруют? Все вы, евреи, суете нос в чужие дела!”

- “Синагога” наша упразднилась, но мы выбирали для встреч другие места. Даже ходили друг к другу в гости. Хозяева не обращали на это внимания. Когда Янкель приходил ко мне, Маруся исчезала. Она не выносила его. “Дикарь, а не еврей! Страшно глядеть ему в глаза. Презираю его!” – говорила она. Должно быть, что-то чувствовала.

- Так проходили дни среди окружавших меня людей. Петр иногда благоволил ко мне. Анна, как всегда, злобилась. Маруся утешала и зажигала. Янкель наставлял и требовал верности еврейству. Сергей ненавидел за “честное воровство”. Сотник учил сносить военные тяготы. А сам я плыл по течению.

- Приближалось христианское торжество, не помню какое. Анна была поглощена приготовлениями. А я вспоминал праздники и субботы в родительском доме, в синагоге. Перед глазами стояли дорогие еврейскому сердцу картины. Где все это? Вернется ли? Даже появление

Маруси не унимало боль. Слезы не могли погасить горячие угли страданий. Как горько! Тоска – спутница судьбы. Хотелось выть, валяться в пыли, принять розги – лишь бы отступили тяжкие думы, только бы опустошить душу...

- Как то раз Халапов задержался дольше обычного. Маруся видела, как он пошел в пивную. Анна обрушилась с проклятиями на шинкаря. Маруся вступилась за него: “Мама, чем он виноват? Разве он силой поит водкой? Отец сам туда идет!” Анна расверипела еще пуще, выплеснула на голову дочери ушат ругани. Я не мог терпеть хулу на Марусю. Кулаки мои сжались. Еще минута, и я бы кинулся на Анну. К счастью, открылась дверь, и вошел Халапов. Он был изрядно пьян и улыбался от уха до уха. Вся широкая душа его отпечаталась на круглом сияющем лице. В такие минуты он мог либо целовать и обнимать, либо ругать и бить.

- Петр стал разговаривать со мной и с Марусей, угощал конфетами, пытался водить с нами хоровод. “Ты опять пьян!” – возмутилась Анна. Улыбка Халапова погасла, и душа покинула физиономию его. “Жидовка!” – взревел он в ответ.

- Лицо Анны побелело, она бросилась вон из комнаты. Маруся покраснела до корней волос. Петр уронил голову на грудь и замолк. Мне показалось, что нарушился ход вещей. Не я ли виноват? Что значит “жидовка”? Ведь это может относиться только ко мне! Или водка совсем помутила разум Халапова?

Рассказ старика был прерван шумной лошадиной ссорой. Одна из саврасок куснула соседку, а та, слишком стесненная упряжью, не смогла дать равноценный ответ и заржала. Кучер помирил их, угостив обеих кнутом. “Поднимаемся в гору, - сказал он, - потрудитесь пройти пешком – пора ноги размять, чтоб кровь не застоялась!” В пути не спорят с возницей, и мы подчинились.

Глава 7

Мы вновь заняли места в повозке. Шмуэль пристально посмотрел на меня, ища нетерпение в моем лице. С удовлетворением найдя искомое, он принялся рассказывать дальше.

- Неосторожно брошенное пьяным Петром слово “жидовка” взволновало не только Анну – всех нас. Маруся сказала мне, что в деревне ходят слухи, будто Анна еврейка, сменившая веру. Маруся не знала, правда ли это, а когда спросила у матери, та рассердилась и не ответила. И еще девочка призналась, что родителей она любит неодинаково – отца больше, и что Анна ненавидит евреев, а Петр благоволит им.

- Маруся добавила, мол, она, как и Халапов, тоже хорошо относится к евреям и в тайне от Анны дружит с дочерьми шинкаря. Она очень просила меня сказать ей правду, каковы евреи среди своих – такие же дикари, как Янкель, или нормальные люди вроде меня?

- Мной завладела мысль – верны ли деревенские слухи? Ведь молва обычно права. Если подлинно это, стало быть, Маруся наполовину еврейка! Я загорелся желанием раскрыть тайну. Хотя, зачем мне это? Или прав Сергей, дескать, евреям до всего дело?

- Тут уместно отвлечься и вспомнить нашего тысячника Павла Акимовича, да будет уготовано ему место в раю! Чиновник умный и человек милосердный. Он говорил, что еврей – самый лучший солдат. Только нужно умело использовать его способности. Главное, не давать ему разжеванных указаний. Поставь перед ним конечную цель – и это все! Тогда он употребит свою природную смекалку и исполнит приказ наилучшим образом, как русскому не под силу.

Старик снова испытующе взглянул на меня, раскурил трубку. Я ждал продолжения.

- К чему это я вспомнил Павла Акимовича? К тому, что он был высокого мнения об еврейской находчивости. Есть у еврея цель – обязательно придумает, как ее достичь. Вот я и изобрел средство, как разгадать загадку Анны.

- Халапов отлучился из дому на несколько дней по служебным делам. Анна мучила меня, как обычно: давала два задания в одно время, требовала невозможного, ругала, драла за ухо. На ночь я отправился на веранду – там было мое место. Анна улеглась у себя, Маруся уже успела уснуть. Я притворился спящим, для убедительности захрапел.

- Я закричал по еврейски, как бы во сне: “Ой, мама, не обижай Анну! Мир дому ее!” Краем глаза я увидел через открытую дверь, как Анна насторожилась. Я снова подал голос: “Анна кормит меня! Она тоже мама!” Анна села на кровати. Тут я добавил накал происходящего. Заговорил громким шепотом: “Мама, неужели Анна еврейка?” Тут Анна встала с кровати, натянула платье, взяла свечу и зашлепала босыми ногами ко мне на веранду, опасливо прислушиваясь, как бы Маруся не проснулась.

“Эй, очнись, парень!” – зашипела Анна.

“А? Что?” – испугался я, будто пробудился.

“Кого видел во сне?” – спросила она, как об очень важном.

“Маму...”

“Разговаривала она с тобой?”

“Она сказала, что Анна должна любить меня.”

“Почему?”

“Я не знаю этих слов по-русски.”

“Скажи по-еврейски!” – не скрывала она нетерпения.

“По-еврейски?” – притворно изумился я и понял, что хитрость удалась.

“Да, да! Скорей!”

“Она говорила, что Анна должна жалеть еврейских детей, потому что она сама еврейка...”

- С тех пор положение мое в доме Петра Халапова заметно поправилось. Анна решительно изменилось ко мне. Или сама она стала другой – не знаю. Когда мы оставались дома одни, она заговаривала со мной по-еврейски, радовалась случаю поболтать на родном языке. Я был доволен собой – часть загадки я разгадал, а вскоре мне открылась вся тайна, да и еще кое-что интересное.

- Напомню вам, что деревенские женщины за глаза не любили Анну, но в лицо говорили ей приятности. Подруг она не нажила, да и гости навещали не часто. Если собирались, то старательно льстили друг дружке и балакали по пустякам, чтобы на задеть сокровенное. С чего бы не начинался у них разговор, а кончался всегда одинаково – осуждали женщин, неусердных в христианской вере. Анна бывала самой строгой порицательницей, однако краснела. Ее товарки украдкой переглядывались и прятали хитрые улыбки. Конечно, Анна знала, что у них на уме – ведь недоброжелательность столь свойственна человеку, и разве скроешь естественное!

- Петр относился к жене терпимо, другими словами терпел ее тяжелый характер. Если ссорились, Анна бывала виновата больше Петра – задиралась первая и упорствовала. Халапов легкомысленно относился к соблюдению церковных предписаний, за что жена всегда распекала его. Как то накануне праздника он забыл купить масло для лампы. На настойчивые упреки Анны он пошутил в ответ: “Будь я набожнее, гордился бы христианским усердием супруги!” Возможно, Петр не думал напоминать Анне скрываемое ею от людей, но она глубоко обиделась и долго плакала.

- Да, Анна страдала от чрезмерной чувствительности. Какие бы обидные слова не звучали – она всегда подозревала, не относятся ли они к ней? Помнится, в полку моем служили, кроме русских, евреи и татары. Было раз, солдат крикнул кому то: “Антихрит ты!” Русские и татары и бровью не повели, а евреи забеспокоились. Вот я и говорю: “Мы с вами слишком волнительный народ!” Почему так?

Шмуэль посмотрел на меня вопросительно. Я, однако, не был уверен, что он желал слышать мое мнение. Я только улыбнулся, а он удовлетворился этим ответом и продолжил свою повесть.

- Поневоле Анне приходилось слишком много молчать. А женщинам это тяжело – они любят работать языком. Беседы со мной отчасти помогали ей преодолевать одиночество. Она говорила мне, что скучает по городу, где родилась и выросла. А другой раз сказала, что питает ненависть к своим родичам. Я размышлял над ее словами. Человека ненавидят, когда он приносит горе. Родные причинили Анне горе раскаяния, горе тоски, горе стыда...

- Анна уже не смущалась говорить по-еврейски в присутствии Маруси и Янкеля – моего постоянного гостя. Правда, Маруся старалась исчезнуть из дому, когда приходил Янкель – уж очень он ей не нравился. Зато Анна принимала его приветливо, уважала. У нас собирались Шмулик, Рувик и другие хатуфим. Когда Петра не было дома, говорили на родном языке. Анна стала нам как бы матерью. Удивительная перемена. Маруся тоже начала понемногу лопотать с нами по-еврейски.

- Анна приняла христианство, но не забыла и веру отцов, и потому несла двойное бремя. Худые предчувствия мучили ее неизменно, ибо она боялась еврейского ада и умирала от страха попасть в ад христианский. Как и все женщины, она верила снам, которые часто посещали ее. Ночные видения толковал ей Янкель, убежденный в обладании этим талантом.

- Как то раз мы так увлеклись беседой, что не заметили, как вошел Петр. Он сел между нами и как ни в чем не бывало вступил в разговор. Маруся первая заметила это и воскликнула изумленно и радостно: “Папа, ты тоже умеешь говорить по-еврейски?” Халапов улыбнулся широко и ответил: “А ты как думала? Умею, да еще получше тебя!” Мы, хатуфим, были потрясены.

- Я подумал, уж не выкрест ли Петр? Но Анна объяснила мне, как я сильно ошибаюсь. Он служил писарем в городе, где жили почти только евреи, с которыми Халапов и занимался. Постепенно выучил язык. Она добавила, что он человек добрый и хорошо относится к евреям. Иначе разве пошла бы она за ним, бросив родную веру? На всякий случай я поинтересовался, о каком городе она говорила. Ее ответ привел меня в трепет – это моя родина!

“А как фамилия вашего родителя?” – спросил я, чувствуя, что напал на след.

“Бендет!”

“Шинкар?”

“Да. А откуда ты знаешь? Это твой город?”

Я назвал ей имя моего отца, и мы оба всплеснули руками.

Пока старик рассказывал, туман рассеялся, и ветер разогнал облака. Я взглянул вверх. Над нами торжественно нависал огромный черный купол, а на бархате его белели спинки крупных и мелких светляков. Я вспомнил, что Бог обещал дать праотцу Аврааму потомков числом бесчисленным, как звезды небесные. Вот они, сияют над головой сонмы людей народа моего.

Одни горят ровно, другие, что в изгнании, мерцают, третьи скрыты за пеленой. Все светила дороги нам – яркие и тусклые, далекие и близкие...

Глава 8

Подул холодный ветер, мы сдвинулись потесней, чтоб не замерзнуть. Шмуэль проверил, хорошо ли застегнут бушлат на сыне. “Слушайте дальше.” – сказал старик.

- Мы, хатуфим, поневоле перестали соблюдать наши обычаи, но и чужих традиций сторонились. Говорят, голь на выдумки хитра. Тоскуя по родному, мы сочинили собственную религию – в ней были знаки верности старому и непринятия нового. Например, в субботу хоть один час мы не делали никакой работы, зато в христианские праздники находили себе занятие. Довольны были собой, но помалкивали: нельзя хвалиться изобретением – и его и изобретателя обязательно осудят! Янкель втайне хранил у себя малый талит. Когда не грозила опасность, мы целовали его, словно это книга Торы.

- Янкель по-прежнему настойчиво твердил, мол, хатуфим не должны брать добро от тех, кто не в изгнании. А сам он не замечал, с каким довольством принимал благосклонность и уважение Анны. Стоило ему заметить, что я беседую с Марусей, он вмешивался и находил повод разъединить нас. Я бывал очень сердит, но не решался возражать ему, неуверенный в своей правоте и в способности спорить с маленьким раввином. Наконец, терпение Маруси иссякло, она крепко рассердилась и стала избегать меня.

- Я пришел в отчаяние. Я и не предполагал раньше, как сильно был привязан к этой девочке. Маруся не хотела больше знаться со мной. Я искал ее взгляда, а она отводила глаза, не замечала меня. Пустота поселилась в сердце.

- Повстречав Янкеля один на один, я решился на разговор. Я выплеснул на него свое негодование и укол: “Тебе ли меня учить? Сам-то ты сколько добра получаешь от Анны? Или отец покойный явился к тебе во сне и разрешил?” Янкель ответил мне без обиды и рассудительно: “Случаи наши разные, и судить их нельзя одинаково. Вы с Марусей оба молодые – вот в чем суть. А упрек твой правильный, я поступаю дурно и сожалею об этом. Но и твоя вина тут есть. Почему не остерегал меня?” Вот и спорь с грамотеем! Трудно любить того, кто любит тебя чрезмерно.

- В субботу на плацу нас тренировали в выполнении упражнения “на три счета”. Я стоял в первой шеренге, Янкель – за мной. На первый счет мы приподнимали левую ногу и вытягивали ее в прямую линию, носок чуть-чуть над землей. Хотя стоять на одной ноге тяжело, но надо терпеливо ждать команды второго счета. Тогда ты встаешь на вытянутую левую ногу, а правую сгибаешь в колене. На третий счет ты должен выставить вперед согнутую правую ногу. Сотник задержался возле хатуфа, который неправильно выполнял упражнение. Первый счет продолжался слишком долго, я потерял равновесие и упал. То был мой первый проступок в этот день. Сотник сделал вид, что не заметил.

- Я шепнул Янкелю: “Целый день нас держат! Когда дадут передышку?” Как на беду, сотник оказался рядом и услышал еврейскую речь. Это грех непростительный, искупаемый только розгами. Набралось два преступления за день. Я должен был явиться на завтра и получить двадцать ударов по спине. Сотнику, который не любил плакс, понравилось, как я смиренно по-солдатски принял приговор. За это он наградил меня послаблением и свободой выбора: завтра десять розг, а вторая половина наказания – когда сам назначу.

- Разделение экзекуции на две части было принято – если начальство сознавало, что мальчик не выдержит всю порку целиком, или как поблажка. Однако, ожидание второй половины избияния терзало сильнее его самого. Ты не можешь ни есть, ни пить, ни спать – только думаешь о предстоящей муке. Тебя заставят раздеться, положат лицом вниз, один сядет на ноги, другой на затылок, и засвилят розги. Боль, кровь, клочья кожи – невыносимо... Кричишь, а из горла вырывается хрип, роешь землю ногтями, пока не сломаешь их...

- Осмелев, я обратился к сотнику: “Ваше благородие, я прошу двадцать пять розг за раз вместо двадцати за два раза!” Он удивился: “Это еще почему?” Я нашелся с ответом: “Русский солдат не должен слишком долго думать о своей спине – это мешает службе!” Командир окончательно потеплел ко мне и заменил двадцать ударов на десять.

- Тут подошел Янкель, вытянулся во фронт, отдал честь и сказал: “Ваше благородие, он не при чем, это моя вина! Говорил я, а он только слушал. И упал он, споткнувшись об мою ногу. Я готов получить розги вместо него!” Наш наставник просиял лицом. Он обратился ко всем хатуфим: “Берите пример с Янкеля – так солдат должен стоять за товарища! Но имейте в виду, что сотника обмануть невозможно! Глаза сотника все видят. Уши сотника все слышат. Сотник знает все!”

- Я вернулся домой в тоске. Надо ждать завтрашнего утра. Я думал, тело мое не принадлежит мне, словно я взял его в долг и обязан возвратить. Ночью почти не спал. Казалось, змеи ползали по моей спине. Вышел из дома чуть свет – невыносимо ожидание. Маруся еще не вставала.

“Почему так рано?” – остановила меня Анна.

“Я заработал розги...” – ответил я и рассказал ей обо всем.

“Бедный! Куда ты теперь?” – спросила она со слезами.

“К сотнику. Получать свое.”

“Не евши?”

“Какая разница?” – махнул я рукой и поплелся.

- Люди попадались мне навстречу, кто-то обгонял меня. Я шел и не видел никого. Я чувствовал только свою спину и боль, которая вот-вот придет. Страшно мне было. Я заплакал, словно маленький. Душили слезы.

- Дом сотника находился в дух часах ходьбы от дома Халапова. Я пришел, сел на скамейку, стал ждать, когда выйдет начальник. Поскорей бы уж появился. Высекут, увезут в лазарет, перевяжут, буду болеть, поправлюсь. И в то же время думал – хоть бы подольше он не высывался: хотелось оттянуть боль. Сердце мое раскалывалось надвое.

- Мне показалось, из дома доносился женский голос, вроде знакомый. Но настроение этой минуты не склоняло меня к любопытствованию. Тут отворилась дверь, и я увидел на пороге – Боже мой, неужели? – Марусю! Она вышла вместе с сотником. Одной рукой он гладил ее по волосам, а другой держал за локоть. Он торжественно объявил мне: “Горовиц! Эта замечательная девочка просит за тебя! Настоящий русский военный командир не может не уважить просьбу красавицы! Ради нее я помиловал тебя! Ступай домой!”

- Я был готов получить сорок розг, лишь бы этот русский военный командир убрал руки от Маруси! Обратной дорогой я намеренно медлил – хотел, чтобы Маруся меня догнала, надеялся, что заговорит со мной. Думал спросить, как она сумела опередить меня, какой короткий путь она знает. Время шло, а Маруся не появлялась. Что с ней? Беспокойство одолевало меня, и я повернул назад. Что этот служака сделает мне? Что грозит мне, кроме розг? Они мне больше на страшны. Пусть бьют...

- Не доходя до дома сотника я встретил Марусю. Она прошла мимо, отвела глаза в сторону – не замечает меня, словно я камень на дороге. “Маруся!” – позвал я. Она шла, будто не слышала. “Не хочешь говорить со мной? Уж лучше бы я розги получил!” – крикнул я в отчаянии. Она остановилась, задумалась. Пошла дальше, не вымолвив ни слова.

- Я добрел до деревни один. Анна встретила меня со слезами радости. И я заплакал, не знаю почему. Мои глаза встретились с глазами Маруси. Она не отвела взгляд. Я не знал, что он означает.

- Лошади разогнались под гору. Дребезжание повозки разбудило кучера, и, хлестнув по спинам своих кормилиц, он умерил их прыть. Любые уведомления лошадям возница передает на языке кнута. Даже похвалы выражаются на этом наречии. Закончив спуск, мы оказались в долине. Нам светили тусклые огни деревенских домов. Послышался собачий лай. Издалека он кажется приветливым, а вблизи звучит недружелюбно: “Уходи прочь! Нам не надо чужих!” Кучер остановил повозку – привал.

Глава 9

Немного согревшись в деревенском придорожном трактире, мы снова уселись в повозку. Кучер затеял беседу с лошадьми, а старик продолжил рассказ.

- По причине отмененного наказания розгами я стал дважды должником. А гордости долги досадны. Выгораживая меня, Янкель вызвался подставить свою спину, а мою спасла от экзекуции Маруся. Вышло, что я обязан обоим. Благодарение первого я старался преуменьшить в собственных глазах, потому как все несноснее тяготила его опека. А вторая не хотела принимать мою признательность.

- Надо заметить, что я делал успехи в воинской науке. Я стал чувствовать себя молодым солдатом. Начальство благоволило ко мне, сотник называл меня расторопным парнем. Я стал мечтать об офицерстве. Кто сам себе дорогу пробивает, тот твердо стоит на ногах. В фантазиях своих я проявлял чудеса храбрости и находчивости на полях сражений, получал награды и чины.

- В то время солдаты говорили, мол, будем воевать с турками. Янкель доказывал мне, что мусульмане-турки – дети Ишмаэля и приходятся евреям братьями, и они отважны и сильны, как тигры. А я не соглашался и хвастался: дай мне десяток турок, я их всех одним выстрелом уложу! Споры с Янкелем еще больше отдаляли нас друг от друга.

- Мы тренировались в стрельбе по удаленной мишени. Лучше всех проявил себя Янкель: он двенадцать раз подряд поразил цель. Сотник подошел к нему, по-отечески положил руку на плечо, похвалил, посулил скорое производство в офицеры и спросил нет ли у него какой просьбы – с радостью будет исполнена. Янкель ответил, что хотел бы получить разрешение каждый день произносить еврейскую молитву, а по субботам быть свободным от занятий. Сотник не удивился и обе просьбы выполнил. Замечу вам, что к тому времени власти поняли, что еврейский дух в нас не искоренить, а если мы и молимся на иконы – то лишь под страхом наказания. Поэтому начальство сделалось к нам терпимее.

Шмуэль задумался, вспоминая былые времена. Наконец, лицо его прояснилось, он со значительностью поднял указательный палец и взял торжественный тон.

- Я теперь всем говорю – наступили иные времена, и люди изменились. Недавно видел, как невестка раввина вышла из дома с непокрытой головой – а в наши дни женщина даже перед мужем волосы на открывала! Или другой случай. Этой зимой встретил я двух солдат, которые дрожали от холода. Когда я служил, позором считалось для солдата замерзнуть. Вот и выходит: новое поколение, перевернутый мир!

- Продолжу о холодной зиме. Да, в тот год зима выдалась на славу. Крестьяне сидели по домам. От скуки и безделья затевали свадьбы, женили своих чад. На торжества стекались гости или просто любопытные. У меня обычно хватало времени на зрелища – как хорошего солдата сотник освобождал меня от тех тренировок, в которых я не нуждался.

- Раз играли свадьбу в доме у богатого крестьянина, который хотел выбиться из низкого сословия. Он созвал начальство – деревенского голову, чиновников, командиров. Сотника, разумеется, пригласили. Надо сказать, что он охотно бывал на людях, много шутил, и сам первый смеялся – громко, заразительно. Глядя на него и другие принимались хохотать, если не над шуткой, то над его смехом. Он любил нас, хатуфим, и мы считали его человеком хорошим, хоть и доставались нам от него розги. А как еще солдата воспитать? Он и сам в молодости спиной принимал воинскую науку. Или взять, скажем, кучера. Он бьет лошадей кнутом, но разве он желает им зла?

- Маруся тоже пришла на свадьбу, что с ней случалось редко. Она отличалась от своих деревенских сверстниц. И одевалась не так, и говорила иначе. Если принимала участие в разговоре, то голос ее звучал редко и красиво. Сидела она стройно, и походка ее была особенная. Другие девушки исподлобья смотрели на нее, буравили недобрыми взглядами. Лицо ее печалилось, и, глядя на нее, я вспоминал свою мать в день девятого Ава в синагоге.

- Девушки отказывали холостым парням, надеясь быть приглашенными на танец нашим командиром, а он танцевал только с Марусей. И получилось, что деревенские кавалеры обиделись на девушек, те злились на Марусю, а я негодовал на сотника.

- И случилась мерзость. Сергей, сын деревенского головы, с которым я давно поссорился, крикнул Марусе: “Жидовка!” Девушки поддержали хулигана злорадным смехом. Маруся побледнела, впиалась взглядом в сотника, своего танцевального партнера. А тот сделал сердитое лицо и стал разглаживать усы. Маруся отвела от него глаза, посмотрела на меня. Этого было достаточно.

- Господь не обошел меня силой. Одним прыжком я настиг обидчика, скрутил его, подтащил к Марусе, двумя пальцами крепко сжал ему затылок и приказал: “Проси прощения!” Он не мог вырваться из моих клещей и униженно извинялся теми словами, что я потребовал. Я отпустил его. Сотник смотрел на меня одобрительно, но ни слова не произносил. Однако, взгляд его был красноречив: “Правильно сделал! Молодец!” Его молчаливая похвала спасла меня от мести Сергея и его дружков. Маруся вышла, я за ней.

- Оказавшись на улице, Маруся заплакала. Я хотел ее пожалеть, но не знал как. Снег хрустел под нашими ногами. Из дома, где гуляла свадьба, доносились пьяные крики. Мне казалось, нам с Марусей вслед несетя: “Жида, жида!”

“Ты плачешь от обиды? – спросил я, - помнишь, когда-то ты говорила, что тут нет оскорбления? А каково мне всю жизнь слышать это?”

“Не от меня же! – возразила она, почувствовав в моих словах упрек, - а что сержусь на тебя, так это из-за Янкеля. Он плохой человек, меня ненавидит, разлучает нас!”

“Он только не хочет, чтобы я изменил нашей вере!”- вступился я за него.

“Я не позволю тебе совершить такое! Ты и дети твои будете несчастными!” – воскликнула Маруся, глаза ее засветились добротой, и она посмотрела на меня как старшая сестра.

“Я и не собираюсь!”

“Почему моя мать показывает на людях нелюбовь к евреям?” - спросила она, помолчав.

“Наверное, боится услышать “жидовка”, как ты сейчас слыхала.”

“А я решила никогда не выходить замуж, чтоб дочерей моих жидовками не называли. Зачем мама навлекла на себя беды?”

“Лучше к ней обратись, Маруся, может быть, получишь ответ...”

- После случая на свадьбе Маруся вернула мне свою былую приязнь, относилась тепло, по-сестрински. И я привязался к ней. Уж и дня без нее не мог пробыть. Янкель остерегал меня, говорил, что запутаюсь. Он оказался прав.

Глаза Шмуэля блестели. Воспоминания взволновали его. Казалось, говорит со мной не седобородый старик, а юноша восемнадцати лет.

Глава 10

Шмуэль помрачнел. Видно, пришли на память тяжелые дни. Да разве жизнь его легка была?

- Говорил уж я – новые времена, другое поколение, иным манером живут люди. Бывает нынче, еврейская девушка бросается на шею гою, убегает с ним и отрекается от веры отцов. Конечно, и в дни моей молодости случались несчастья измены иудейскому исповеданию. Редко, однако, а, главное, только при условии женитьбы. Так и произошло у Петра с Анной. Он обещал жениться и сдержал слово, но схитрил при этом.

- Хана Бендет – так звали Анну в девичестве – говорила мне, что жизнь ей выпала нелегкая, под гнетом мачехи. Мечтала она прибиться к спасительному берегу замужества. А молодой Петр Халапов был парень видный, хорошо зарабатывал на своей службе и захаживал в кабаки к отцу Ханы. Не ради рюмки, а потому как полюбила его дочь шинкаря.

- Петр знал, как тяжело Хане мачехино ярмо, и старался казаться ангелом-спасителем. Он хотел взять ее в жены, сулил положить мир к ее ногам и обещал жизнь в земном раю. Только одно маленькое препятствие нужно девице одолеть – сменить веру. Хана отказалась. Тем временем дела Бендета пошли хуже, а с убылью доходов туманилась надежда на скорое и правильное замужество. А мачеха все мучила Хану, как люди умеют мучить друг друга.

- Петр не отступал, а Хана убеждала его, что несчастен будет их брак. Христианская родня Халапова не примет еврейку, хоть и крещеную, и его самого отвергнет. А ее, если окажется хуже других женщин, станут срамить, если лучше – возненавидят от зависти. Да и за детьми потянется тень презрения. В ответ Халапов клялся в любви и твердил, что она лучше всех женщин на свете, и он не может жить без нее.

- Чувства и намерения Петра были честными, но путь к цели он избрал кривой. Он притворился недужным и передал Хане записку: если умрет – то от горя, и его смерть запятнает ее совесть, а если выживет, то убьет себя, ибо понял, что еврейские девушки жестоки и рады горю христианина. Хана поддалась и сделала то, что сделала, и стала зваться Анной.

Шмуэль внимательно посмотрел на меня, многозначительно – на сына. Парень слушал отца, молчал и каждое слово впитывал. О чем он думал?

- Худшие предчувствия Анны сбылись, да еще и с прибавлениями. Родня Петра отдалилась от него и невзлюбила отщепенца. Анна чувствовала себя одинокой среди людей. Мужчинам не нравилась скромность, которую она вынесла из еврейского дома. Женщины осуждали ее за трезвость – не пила сама и не угощала водкой. И вся деревня завидовала достатку в семье Халапова, видя причину сего в скупости жены. Паскудство этого дома объяснялось просто: хозяйка – жидовка. Со временем Петр осознал правоту умной девушки Ханы. Чтобы изгнать из головы тяжкие мысли, все чаще стал захаживать в кабак. Скверно было ему среди своих, и он вспоминал, как хорошо ему жилось с евреями, но Анна закрыла себе путь назад.

- Случилась беда. Петр Халапов тяжело заболел и слег. Анна всегда боялась пережить мужа. Дела о наследстве были неустроены, и в этом положении, если умрет Петр, дом и имущество перейдут к его родне, а Анна с Марусей останутся в нищете. В прежние года Анна не раз просила Петра побеспокоиться о семье. От Халапова требовалось написать несколько бумаг, а он, сам писарь, не любил заниматься этим вне службы, и по легкомыслию все откладывал неприятную работу. Блаженна жизнь, пока живешь без дум.

- Теперь, когда муж всерьез занемог, Анна стыдилась заговаривать с ним о наследстве – напоминать о возможной смерти. Она попросила меня помочь, и я согласился. Я выражался политично, чтобы не причинить боль Петру. Осторожность моя оказалась излишней. Он хладнокровно относился к неизбежности кончины, но сказал, что еще есть время для устройства дел, и торопиться некуда.

Повторив беспечные слова Петра, старый солдат вновь поднял вверх указательный палец, и я догадался, что Шмуэль готовится поделиться с нами жизненными наблюдениями. Начав с того, что понять евреев труднее, чем любой другой народ, он сообщил, в чем, по его мнению, заключается одно из различий между евреем и неевреем. Что касается дня сегодняшнего, гой, случается, и перехитрит сына Израиля, но заботой о будущем христианин не слишком занимает голову. Шмуэль привел в пример себя – как он печется о приданом для дочерей и о том, чтобы после его смерти детям досталось чистое от долгов наследство. Еврей может забыть пообедать, но всегда помнит о завтрашнем дне. Подумав, Шмуэль добавил, что супруги, если молятся по-разному, не обретут счастья, ибо, уподобятся строителям Вавилонской башни, и не возьмут в толк языки друг друга.

- Петр Халапов умер. Дело о наследстве он так и не устроил. Анна проводила мужа в последний путь по христианским обычаям, и впервые пережитая ею такая смута добавила страданий к горю. Деревенский голова от имени родни покойного оспорил завещание, имущество перешло к родственнику Сергею, а для Анны и Маруси предназначались отступные.

- Однако, Сергей хоть и сильно не любил евреев и костерил их при удобном случае, а все ж соображал, что Маруся лучше других девушек, и хотел взять ее в жены. Есть такие подлецы: сегодня гавкнет, завтра – лизнет.

- Зная, что Маруся не пойдет за него добром, Сергей, засылая сватов, поручил им передать, мол, если она станет его женой, то он вернет наследство. Анна склонялась принять предложение. Маруся спросила моего совета. Я ответил, что Анна права. “Ты врешь!” – вскричала Маруся и расплакалась. И действительно, я врал. Я вообще не хотел, чтоб Маруся выходила замуж, а в особенности за Сергея. Тогда почему я согласился с Анной? Сам не знаю... А Маруся выгнала сватов.

- Я надеялся не оставлять женщин одних, но началась Севастопольская война, наш полк был среди первых направляемых в Крым, и пришлось мне покинуть Марусю и Анну, когда они во мне особенно нуждались.

Глава 11

Мы продолжали наше ночное путешествие. Робко светя, звезды взяли на себя заботу уведомлять возницу о лужах и колдобинах впереди. Не вполне доверяя усердию дальних светил, сердитая луна выползла из-за облака и помогала меньшим сестрам, укоризненно косясь на них. В бледном ночном сиянии старый солдат выглядел на новый лад, но бесхитростный рассказ его бередил душу, как и в дневной час.

- Когда нам сообщили, что мы мобилизованы на войну, и нам предстоит сражаться и, возможно, быть ранеными и убитыми, стало понятно, для чего мы живем, зачем нас умыкнули из родных домов, и в чем состояла цель наших страданий до сих пор. Годы мы блуждали во тьме пещеры, и вот засиял выход из нее. Мы пробуждались ото сна, ели, пили, тренировались, шли спать – все по команде. Дисциплина и строевые учения являли смысл нашего существования.

- Янкель изменился. Странно, но с тех пор, как он получил разрешение молиться по-еврейски и отдыхать в субботу, он стал терять вкус к молитве, и соблюдение субботы тяготило его. Незапретное не манило. Покойный отец больше не являлся к нему во сне. Янкель говорил теперь, что хатуф хранит еврейство не преданностью традиции, а стойкостью в испытаниях. Известие о войне подействовало на него хорошо, он радовался.

- Утром после построения на плацу меня вызвали к сотнику.
“Горовец! – обратился ко мне командир, - две красавицы просят перевести тебя из строевой роты в служебную. Если есть на то твое желание – я это сделаю.”
“Ваше благородие! Я хочу остаться боевым солдатом в полку. Иначе к чему были годы учений?” – возразил я.
“Мне нравится ответ. Ну, а если погибнешь на войне?”
“Если погибну, то многих врагов с собой уведу!”
“Откуда такая уверенность?”
“Не знаю. Так я чувствую, Ваше благородие.”
“Послушаем, Горовец, твоих ходатаев” - сказал сотник и пригласил Анну и Марусю.

- Стали спорить. Женщины стояли на своем, я – на своем. “Голоса разделились поровну!” – воскликнул командир. Тут я взглянул на Марусю. Она задумалась, потом присоединилась к нашему с сотником мнению. Я остался в строю.

- Мы вышли из дома сотника. Маруся протянула мне маленький сверток. Среди прочих вещей там лежал еврейский молитвенник – должно быть, она выпросила его у шинкаря. Был и серебряный крестик, который я прежде видел у нее на шее. Мы молча смотрели друг на друга. О чем мы могли говорить? “Ты вернешься?” – спросила Маруся. “Вернусь к вам!” – ответил я.

Глава 12

Старый солдат помрачнел лицом. Я не удивился перемене – настала очередь военных воспоминаний. Шмуэль долго вздыхал, должно быть, перебирал в голове всякое, думал, что сказать, о чем умолчать. Наконец, заговорил.

- Пришел день, и полк наш двинулся к месту боев. Собака моя увязалась за мной. Что ей делать на войне? Я гнал ее, бил, а она лизала мне руки и не отставала. Я ударил ее прикладом ружья по лапе, чтоб вернулась. Она завыла. Маруся заперла ее в сарае. Ничего не помогло. Через три часа она на трех ногах снова догнала меня. Значит, судьба нам не разлучаться и вместе вкушать невзгоды. Я подумал тогда, что только собака знает беззаветную верность. А люди по природе своей шкурные. Преданность чаще всего проистекает из корысти. Хотя, испытания военной години исключают из этого правила иного солдата или изгнанника.

- Собака отнеслась к бойцам с недоверием. Думаю, не нравилась ей блестящие пуговицы на мундирах. Она держалась поближе ко мне и к Янкелю. Остроумцы в роте говорили, что она любит евреев и узнает их. А я принимал это всерьез. Знали бы они, сколько хлеба и мяса она получила из еврейских рук, прежде, чем научилась отличать нашего брата!

- В моем полку служил Сергей. У него всегда водились деньги – из дому присылали. Курил он только хороший табак. Чтоб легче жилось и спрашивали поменьше, Сергей старался казаться деревенским простаком, но я-то знал, каков он. Оставаться рядовым солдатом он не собирался, носился с мечтой об офицерстве. Говорил, когда вернется домой, деревенские перед ним навтыжку стоять будут.

- Присоединились к нам новые лица. Например, Василь Згаровски, поляк. Он ненавидел евреев и для меня не делал исключения. Василь слыл завзятым курильщиком. Я тоже курил, когда были деньги на махорку. Если Згаровски оставался без курева – требовал у товарищей. Просить он не умел, думал, все должники ему.

- Как-то раз стояли мы втроем – я, Сергей и Згаровски. Сергей стал закуривать. Згаровски потянулся к его кисету. Сергей не любил панибратства, оттолкнул нахальную руку. Я пожалел поляка и предложил ему свой табак. Он охотно принял угощение и при этом пробурчал “Жид”. К тому времени я научился говорить по-русски чисто и без ошибок и удивился, из чего он заключил, что я еврей?

- Наш полк развернулся близко к арене предстоящих боевых действий – так говорили командиры. Дни тянулись слишком медленно и походили один на другой. Но тут в однообразии ожидания случилось из ряда вон выходящее событие.

- Расположение полка охранялось часовыми. Снаружи обитали торговцы. С разрешения начальства караул пропускал их вовнутрь, и они продавали солдатам всякие мелочи. Один из барышников показался Янкелю неблагонадежным, но почему – Янкель объяснить не мог. Собаке моей он тоже не нравился, видно и она имела на него если не подозрение, то зуб, а, вернее, зубы, от которых я спас сего коробейника, когда она с бешеным лаем набросилась на него.

- Солдаты стали пристально следить за этим человеком. Янкель нес караульную службу в тот день, когда в полку ожидали важного гостя из главного штаба. Вот показалась карета с высоким чином. Янкель заметил, как за бугром поднялась фигура знакомого торговца. Тот достал из-за пазухи пистолет и направил в сторону пышного экипажа. Не долго думая, Янкель прицелился и спустил курок. Кажется, я уже говорил, что в меткости стрельбы Янкелю не было равных. Покушавшийся безжизненно рухнул наземь. Оказалось, пробрался к нам некий поляк, который поджидал генерала, чтобы убить его.

- Военный вельможа сердечно благодарил своего спасителя, похлопал по плечу. Янкеля произвели в офицеры. Я не завидовал, доволен был – ведь заслуга одного из “наших” всем нам

делает честь, не так ли? Недолго я радовался. Через несколько дней встретил Янкеля. Мертвая улыбка на лице, глаза отводит, бледный. Сообщил мне по секрету, что обещал начальству принять христианство.

- Я перебирал в памяти наш с Янкелем путь, вспоминал, что розги не сломили его. Видно, легче принять муки зла, чем отвергнуть приманку добра. Прав он был – нельзя изгнаннику получать благодеяния от чужих...

Шмуэль смолк на минуту. Поглядел на меня, на сына. Покачал головой, сокрушенно развел руками.

- Офицеру Янкелю назначили денщиком солдата Згаровского, которому полагалось чистить оружие и одежду командира. Непривычный к барству, Янкель отказался от помощи. Згаровски отошел, процедив “жид”. Терпение мое лопнуло. Я загородил ему дорогу. “Слушай, ты, поляк, - с угрозой в голосе воскликнул я, - вперед солдатское дело узнай, да по-русски научись толком говорить, а потом за другими смотри! Помню, ты и меня жидом назвал, когда я с тобой табаком поделился. Откуда тебе знать, кто тут жид?”

- Згаровски не оробел. “Дело простое, - сказал он, коверкая слова, - еврей – он подхалим, набивается угождать, а себя унижает. Прикидывается закабаленным, чтоб других закабалить. Ненавижу евреев, услужливых в особенности!”

- Со временем я убедился: есть в его словах крупица правды. Не ново это под солнцем – платить отвращением за добро. Еврей и впрямь хочет угодить гою. А зря! Тот думает себе, дескать, с чего бы это жиду так стараться, небось, должен мне много, а малой долей хочет глаза запорошить! Короче, мы со Згаровским питали друг к другу ненависть, и она-то была причиной нашей взаимной любви. Ничего удивительного! Порой, человеку необходимо кого-то проклинать, срамить, ненавидеть. Хорошо, если есть подходящий молодчик, чтобы злость срывать. В такую минуту ненавистник милее любящего!

- Надоело солдатам баловство бесконечных учений: “Стройся, разойдись, в атаку, в засаду, стреляй, коли, бей!” С тренировок мы всегда возвращались с победой, но хотелось настоящего дела. Так заведено было в наше время, так одолевали врага! Генерал наш говаривал: “Пуля – дура, быстра, да слепа. А штык проворен и умен!”

- В один из дней мы услышали звуки труб и барабанов. Это не впервой. Подумали: опять учение. Но ошиблись. Враг стоял перед нами, и мы жаждали крови его, а он – нашей. В минуту перед боем вспоминаешь, что ты молод, что у тебя длинный счет к жизни. Ты еще не сделал достаточно добра любимым и любящим, ты не отомстил недругам. Ты вообще мало успел, и не годится сейчас умирать.

- Эти раздумья стиснуты в короткое мгновение. Они промелькнут, и надвинется другое. Растворяешься в строю среди таких же, как ты. Становишься незнакомым себе существом, приходят неизведанные прежде чувства, и мысли улетают. Не умею описать это состояние, но всякий солдат, изведавший правду страха и обман удали, вкушал его.

- Знакомый нам по учениям невысокий холм стал могилой для героев первого дня боев. Полные сил и страсти к победе, они начали сражение утром, а вечером их стащили в яму и закопали. Мне сказали, что и Янкель упокоен там. Черви в земле не делают разницы между евреем и гоєм. Конечно, на небесах всякая душа попадет в назначенное ей место. Я прочитал

кадиш. А что еще я мог сделать? В тот же день окончила свой путь моя собака, не будь рядом помянута.

- Назавтра – снова бой. Мы стояли, ошетилившись оружием – свои и чужие. Смотрели друг на друга, а, вернее, враг на врага. Непонятная сила тянула нас соединиться, обнять и убить. Грохот... Бомбы... Пули... Крики... Кровь... Солдаты падают... Солдаты умирают... Барабаны слышны слабее... Трубы смолкли... Пронесся в памяти псалом: “Даже если иду долиной тьмы – не утрашусь зла, ибо Ты со мной; посох Твой и опора Твоя – они успокоят меня...” А на кого же уповать, как не на Господа?

- Надвигались войско на войско, человек на человека. Я колол штыком направо и налево. Я калечил и убивал, нес муки и смерть. А сам оставался невредим. Священник, воздевши руки с иконой и крестом, стоял меж русских рядов. Взглянув на знаки святости, солдаты храбрились и наступали, стыдился и не бежали. Я вспомнил из Хумаша, как Моше сделал змея медного и возложил его на шест, и сыны Израиля лишь посмотрят на змея – и спасутся.

- Пуля задела священника. Он упал, и на земле оказались икона и крест. Смятение охватило солдат, еще минута-другая – и побегут с поля боя.

- Хотите верьте, хотите – нет, но в эти мгновения я расщепился на трое: Шмуэль-человек, Шмуэль-солдат и Шмуэль-еврей.

“Ты сделал свое, беги!” – крикнул мне Шмуэль-человек.

“Символ полка упал, попытайся спасти!” – пристыдил Шмуэль-солдат.

“Сколько розг ты получил за иконы и кресты!” – подал голос Шмуэль-еврей.

“Жизнь молодую береги, деревяшки брось!” – настаивал Шмуэль-человек.

“Солдат штыку служит, а не себя жалеет!” – изрек Шмуэль-солдат.

“Еврей обязан сделать больше других!” – оставил за собой последнее слово Шмуэль-еврей.

- Я мигом очутился рядом со священником. Он был легко ранен. Я помог ему встать и вложил ему в руки драгоценные предметы. Разнесся клич: “Русские, вперед!” Кто кричал? Священник? Или я? Или то был голос с небес? Не знаю.

- В этом бою мы победили, но я не сражался до конца. Пуля попала мне в ногу, сознание помутилось, и я упал.

На сей раз старик замолчал надолго. Смотрел вниз, озирался по сторонам, глядел на небо. Вздыхал протяжно, кажется, забыл о слушателях. С жалостью взглянул на новобранца. Должно быть, Шмуэль хотел для сына другой судьбы, совсем не похожей на свою. Наконец, он вспомнил о нас.

- Я очнулся, услышал вокруг крики, возгласы страдания. Я подумал, уж не в аду ли я, среди осужденных на муки? Рядом со мной лежал раненый Згаровски. Он открыл один глаз, зыркнул в мою сторону, злоба светилась во взгляде его. Сил его хватило не на много. “Жид...” – прохрипел он свое последнее слово и испустил дух. Жаль было лишиться искреннего ненавистника. Мир праху его.

- Сзади меня раздался призывный громкий стон. Я оглянулся: это Сергей. Он лежал на боку, вставал, озирался, снова ложился. Этот мошенник сделал расчет – зачем ждать пули или штыка, не лучше ли притвориться раненым и застонать впрок? Не диво – проходимец к добродетели да к доверчивости льнет.

- Русский солдат видел деяние еврея. Сергей усадил меня, перевязал, как мог, рану и заговорил. “Послушай, Горовец! Ты сделал великую вещь, но тебе это без надобности. Наоборот, опасно – снова потянут в христианство!”

“А ты чего хочешь?” – с подозрением спросил я.

“Будь свидетелем, что это я поднял икону и крест. Поп не различит. А я щедро заплачу тебе!”

“А тебе зачем? В офицеры метишь, Сергей?”

“Может, и повыше...”

“Ладно. Дай мне документ, что дом и наследство ты даришь Марусе.”

“Обещаю!”

“Я обещаниям не верю. Достань блокнот и чернильный карандаш и пиши!”

- Я встал на четвереньки, на моей спине он написал бумагу, подписал, отдал мне. Потом я подумал, что Сергей и без всякого документа сдержал бы слово – боялся бы, что я открою обман.

- Я был отправлен в госпиталь. По дороге меня сразила тяжелая лихорадка, и я надолго впал в забытие. Я блуждал в царстве неотступных видений. Отец... Мать... Хатуф... Овцы на заклатие... Анна... Маруся... Петр... Пули... Боль в ноге... Боль в голове... А время шло.

- Мне показалось, мать гладит меня по лбу, по волосам. Горячие капли упали на лицо. Голове стало легче. Я открыл глаза. Кто это? Снова бред?

“Маруся!” – неуверенно проговорил я.

“Это я!” – засмеялась она, а слезы ее обожгли мне щеки и рот.

“Анна?” – спросил я, увидев еще одну пару глаз.

“Молчи! Покой, покой! Слава Богу, кризис миновал! Ты не бредишь. Мы вызвались служить сестрами милосердия в госпитале.” – объяснила Анна.

“Маруся, как я сюда попал?”

“Тебя привезли, стащили с телеги...” – она залилась слезами, Анна закончила за нее.

“Маруся, а где мои вещи?”

“У меня.”

“Дай их мне!”

“Зачем тебе?”

“Там важный документ!”

“Сейчас!” – сказала она и принесла мой мешок.

“Читай вслух, чтобы и Анна слышала!”

“Как ты получил это?” – изумилась Маруся, прочитав документ.

- Я не открыл секрет – я был связан с Сергеем. Счастливые лица женщин стали наградой мне. Когда я излечился и вышел из госпиталя, война уже кончилась, и владыки подписали мирный договор. Спросили бы меня тогда – я бы на мировую не пошел!

Глава 13

Старик смолк, и показалось мне, что на лице его изобразилось смущение. Если прав я, то отчего неловко ему? Сожалел, что не тайлся от меня, чужого? Или подумал, не услышал ли лишнего молчаливый сын его? Возможно, обмануло меня чутье, и Шмуэль вовсе не огорчился из-за словоохотливости своей. Как бы там ни было, он заговорил вновь, и, кажется, надумал завершать рассказ.

- Когда жизнь особенно тяготила меня, я вспоминал отца с матерью. А в другое время не скучал по ним. Почту я не утруждал. Я не мастер писать на святом языке, а на русском – кто дома поймет? Кабы отдали в солдаты не меня, а брата Шломо, мир праху его, – другое дело!

Шломо дружил с пером, умел изливать на бумаге мысли и сердце. Ну, а я освободил себя от этой заботы и был доволен. Безмятежность не пишет писем.

- Однако, с годами обнаружил я, что есть в моей душе затененный уголок, который я не замечал прежде, и надо бы заглянуть туда и узнать о себе побольше. Так я и сделал. И вот, почувствовал: тоскую по отцу с матерью и по родному дому. А мой гнев – ведь на замену меня отдали – почти совсем пропал, ну, разве, капля малая осталась.

- Я поехал домой. В воображении я рисовал себе встречу с родными. Слезы, объятия, поцелуи, соседи вокруг... Мне не приходило в голову, что кого-то уж нет в живых. Да и как я мог подумать о таком? Небеса не совершат великую несправедливость: за меня страдавших, но не дождавшихся моей ответной благодарной жалости – не заберут!

- Чем ближе я подъезжал к родному городу, тем больше удивляли меня чувства мои. Тоска по своим утихала, а старое отчуждение нет-нет, да и царапало душу.

- Время года было – как сейчас. Дороги разбиты, лужи, грязь. Сидишь, томишься, считаешь лошадиные шаги. Уж лучше идти рядом с телегой.

- Близо уже. Осталось миновать долину – и увижу окраину города. Я решил сократить путь. На мне была солдатская форма, и металлические поговицы гордо блестели. Значит, имел я особые права и смело шагал по меже между крестьянских полей.

- Еще короче путь через еврейское кладбище. Старые могильные камни потемнели и накренились, новые стояли прямо и белели среди жухлой травы. Гнетущая тишина леденила сердце. Бедные надгробия смотрели на меня осуждающе – я осквернил святое место солдатством своим.

- Из любопытства стал читать надписи. Вот свежая: “Здесь покоится ... честнейший... богобоязненный... раби Симха... резник...” Я был потрясен. Это наш Симха! Хотелось плакать, но глаза оставались сухими. Я снова и снова разбирал квадратные буквы. Мне послышался голос из могилы: “Прости, прости...” Тут, наконец-то, брызнули слезы. Ведь это душа покойного просит прощения у меня, у брата, принесенного в жертву на замену! Я ускорил шаг, боялся увидеть худшее – о родителях я подумал...

- Я вошел в родительский дом, и печальная картина открылась мне. Скучность. Отец и мать сторбились, щеки впали, морщины избороздили серые лица. Не узнали. Из-за мундира, должно быть. Отец посмотрел на меня, в страхе снял шапку, глядел подобострастно. Подумал, казак огласит очередной указ.

“Новый налог! Только этого нам не хватает!” – воскликнула мать, стоя у печи.

“Старики, я привез вам привет от сына Шмуэля!” – сказал я, притворившись чужим.

“Здравствуй, молодой человек!” – обрадовался отец еврейской речи и протянул мне руку.

“Когда ты видел его?” – испуганно воскликнула мать. Я сочинил время и место.

“Он был на войне, конечно?” – спросил отец и получил подтверждение.

“Он здоров?” – заволновалась мать. Мой ответ успокоил ее.

“А как в смысле... в смысле веры?” – задал тревожный вопрос отец.

“Будь на его месте богобоязненный Симха, – устоял бы, наверное...” – пробормотал я, ибо в эту минуту вселился в меня злой дух, и захотелось мне сказать горькое слово старикам.

- Зачем я это сделал? Хоть бы Бог не припомнил мне сей грех на Высшем суде!

“Он что, изменил вере?” – прошептал отец, и немота моя означла согласие.

“Женился на гое? Есть дети?” – сквозь слезы проговорила мать, а я молчал, потупившись.
“Позор на наши головы...” – скорбно произнес отец. Он достал из кармана складной нож и приготовился надрезать на себе одежду. Еще минута, и он сядет на пол и станет оплакивать живого сына, как покойника.

- Тут оттаяло жестокое сердце мое. И я открылся родителям.

- Я рассказал отцу с матерью кое-что о своей жизни в изгнании. Например, как принял христианство благочестивый Янкель, а потом погиб в бою, и о том, как я выстоял и сберег в душе родную веру. Они радовались, но до конца поверили, что я остался евреем, лишь после моей женитьбы на Ривке – строго по нашим законам.

- Прошло несколько лет после свадьбы. И дальше все шло, как положено: еврей женился, породил детей – и начались у него болячки, не про вас будь сказано.

- Люди говорили, что в городской больнице служит фельдшером одна особа слабого пола, лучше любого доктора-мужчины понимает во всех болезнях. Врач – он второй после Бога. Я поехал в город за излечением, стал разыскивать чудо-целительницу. Вышла мне навстречу молодая женщина.

“Маруся!?”

“Шмуэль!?”

“Замужем ты?” – спросил я, придя в себя.

“А ты женился, Шмуэль?”

“Да...”

“А я свободна...”

- Какая добрая душа! Ее уж нет в живых. Да будет ей вечное место в раю!

Старик провел рукавом по глазам. Взглянул на сына. Вздохнул тяжело: “Да, все по другому сейчас. Не те солдаты, не те люди. Все не так, как в былые времена...”

Обложка: Фрагмент портрета Императора Николая I в походной шинели, 1854.